Шли путем-дорогою два мужика: Иван Бодров да Федор Голубкин. Оба были односельчане и соседи по дворам, оба только что в весенний мясоед женились. С апреля месяца жили они в Москве в каменщиках и теперь выпросились у хозяина в побывку домой на сенокосное время. Предстояло пройти от железной дороги верст сорок в сторону, а этакую махину, пожалуй, и привычный мужик в одни сутки не оплетёт.



Шли они не то́ропко, не надрываясь. Вышли ранним утром, а теперь солнце уж высоко стояло. Они отошли всего верст пятнадцать, как ноги уж потребовали отдыха, тем больше, что день выдался знойный, душный. Но, высматривая по сторонам, не встретится ли стога сена, под которым можно было бы поесть и соснуть, они оживленно между собой разговаривали.

— Ты что́ домой, Иван, несешь? — спросил Федор.

— Да три пятишницы хозяин до расчета дал. Одну-то, признаться, в Москве еще на мелочи истратил, а две домой несу.

— И я тоже. Да только куда с двумя пятишницами повернешься?

— Тут и в пир, и в мир, а отец велел сказать, что какая-то старая недоимка нашлась, так понуждают. Пожалуй, и все туда уйдет.

— А у нас и хлеба-то до нового не хватит. Пришел сенокос, руки-то целый день намахаешь, так поневоле есть запросишь. Ничего-то у нас нет, ни хлеба, ни соли, а тоже людьми считаемся. Говорят: «вы каменщики, в Москве работаете, у вас должны деньги значиться…» А сколько их и по осени-то принесешь!

— Худо наше крестьянское житье! Нет хуже.

— Чего еще!

Путники вздохнули и несколько минут шли молча.

— Что-то теперь наши делают? — опять начал Федор.

— Что делают! Чай, навоз вывезли; пашут… и пашут, и боронят, и сеют; круглое лето около земли ходят, а все хлеба нет. Сряду три года то вымокнет, то сухмень высушит, то градом побьет… Как-то нынче господь совершит!

— А у меня, брат, и еще горе. К Дуньке волостной старшина увязался; не дает бабе проходу, да и вся недолга. Свах с подарками засылает; одну батюшко вожжами поучил, так его же на три дня в холодную засадили.

— И ничего не поделаешь! Помнишь, как летось Прохорова Матренка задавилась? Тоже старшина… Терпела-терпела, да и в петлю…

— Нам худо, а бабам нашим еще того хуже. Мы, по крайности, в Москву сходим, на свет поглядим, а баба — куда она пойдет? Словно к тюрьме прикованная. Ноги и руки за лето иссекутся; лицо словно голенище черное сделается, и на человека-то не похоже. И всякий-то норовит ее обидеть да обозвать…

— Давай-ка, Федя, песню с горя споем!

Стали петь песню, но с горя и с устатку как-то не пелось.

— А что, Иван, я хотел тебя спросить: где Правда находится? — молвил Федор.

— И я тоже не однова спрашивал у людей: «Где, мол, Правда, где ее отыскать?» А мне один молодой барин в Москве сказал, будто она на дне колодца сидит спрятана.

— Ишь ведь! Кабы так, давно бы наши бабы ее оттоле бадьями вытащили, — пошутил Федор.

— Известно, посмеялся надо мной барчук. Им что! Они и без Правды проживут. А нам Неправда-то оскомину набила.

— Старики сказывают, что дедушко Еремей еще при старом барине все Правды искал; да Правда-то, вишь, изувечила его.

— Прежде многие Правду разыскивали; тяжельше, стало быть, жить было, да и сердце у стариков болело. Одна барщина сколько народу сгубила. В поле — смерть, дома — смерть, везде… Придет крестьянин о празднике в церковь, а там на всех стенах Правда написана, только со стены-то ее не снимешь.

— Это правда твоя, что не снимешь. Что́ крестьянин? Он и видит, да глаз неймет. Темные мы люди, бессчастные; вздохнешь да поплачешь: «Господи, помилуй!» — только и всего. И молиться-то мы не умеем.

— Прежде ходоки такие были, за мир стояли. Соберется, бывало, ходок, крадучись, в Петербург, а его оттоле по этапу…

— Все-таки прежде хоть насчет Правды лучше было. И старики детям наказывали: «Одолела нас Неправда, надо Правды искать». Батюшко сказывал: «Такое сердце у дедушки Еремея было — так и рвется за мир постоять!» И теперь он на печи изувеченный лежит; в чем душа, а все о Правде твердит! Только нынче его уж не слушают.

— То-то, что легче, говорят, стало — оттого и Еремея не слушают. Кому нынче Правда нужна? И на сходке, и в кабаке — везде нонче легость…

— Прежде господа рвали душу, теперь — мироеды да кабатчики. Во всякой деревне мироед завелся: рвет христианские души, да и шабаш.

— Возьмем хоть бы Василия Игнатьева — какие он себе хоромы на христианскую кровь взбодрил. Крышу-то красную за версту видно; о́бок лавка, а он стоит в дверях да брюхо об косяк чешет.

— И все к нему с почтением. Старшина приедет — с ним вместе бражничает, долги его прежде казенных податей собирает; становой приедет — тоже у него становится. У него и щи с убоиной, и водка. Летось молодой барин из Питера приезжал — сейчас: «Попросите ко мне Василия Игнатьича!..» — «Ну что, Василий Игнатьич, все ли подобру-поздорову? хорошо ли торгуете?»

— Чайку вместе попьемте… вы, дескать, настоящий добрый русский крестьянин! печетесь о себе, другим пример показываете… И ежели, мол, вам что нужно, так пишите ко мне в Петербург.

— Одворицу выкупил, да надел на семь душ! Совсем из мира увольнился, сам барин.

— А теперь мир ему в ноги кланяется, как придет время подати вносить. Миром ему и сенокос убирают, и хлеб жнут…

— Вот так легость! Нет, ты скажи, где же Правду искать?

— У бога она, должно быть. Бог ее на небо взял и не пущает.

Опять смолкли спутники, опять завздыхали. Но Федор верил, что не может этого статься, чтобы Правды не было на свете, и ему не по нраву было, что товарищ его относится к этой вере так легко.

— Нет, я попробую, — сказал он. — Я как приду, так сейчас же к дедушке Еремею схожу. Все у него выспрошу, как он Правду разыскивал.

— А он тебе расскажет, как его в части секли, как по этапу гнали, да в Сибирь совсем было собрали, только барин вдруг спохватился: «Определить Еремея лесным сторожем!» И сторожил он барские леса до самой воли, жил в трущобе, и никого не велено было пускать к нему. Нет уж, лучше ты этого дела не замай!

— Никак этого сделать нельзя. Возьми хоть Дуньку: как я приду, сейчас она мне все расскажет… Что ж я столбом, что ли, перед ней стоять буду? Нет, тут и до смертного случая недалеко. Я ему кишки, псу несытому, выпущу!

— Ишь ведь! Все говорил об Правде, а теперь на кишки своротил. Разве это Правда? знаешь ли ты, что за такую Правду с тобой сделают?

— И пущай делают. По-твоему, значит, так и оставить. «Приходите, мол, Егор Петрович: моя Дунька завсегда…» Нет, это надо оставить! Сыщу я Правду, сыщу!

— Ах ты, жарынь какая! — молвил Иван, чтобы переменить разговор. — Скоро, поди, столб будет, а там деревнюшка. Туда, что ли, полдничать пойдем, или в поле отдохнем?

Но Федор не мог уж угомониться и все бормотал: «Сыщу я Правду, сыщу!»

— А я так думаю, что ничего ты не сыщешь, потому что нет Правды для нас: время, вишь, не наступило! — сказал Иван. — Ты лучше подумай, на какие деньги хлеба искупить, чтобы до нового есть было что́.

— К тому же Василию Игнатьеву пойдем, в ноги поклонимся! — угрюмо ответил Федор.

— И то придется; да десятину сенокоса ему за подожданье уберем! Батюшко, пожалуй, скажет: «Чем на платки жене да на кушаки третью пятишницу тратить, лучше бы на хлеб ее сберег».

— Терпим и холод, и голод, каждый год все ждем: авось будет лучше… доколе же? Ин и в самом деле Правды на свете нет! так только, попусту, люди болтают: «Правда, Правда…» — а где она?!

— Намеднись начетчик один в Москве говорил мне: «Правда — у нас в сердцах. Живите по правде — и вам, и всем хорошо будет».

— Сыт, должно быть, этот начетчик, оттого и мелет.

— А может, и господа набаловали. Простой, дескать, мужик, а какие речи говорит! Ему-то хорошо, так он и забыл, что другим больно.

В это время навстречу путникам мелькнул полусгнивший верстовой столб, на котором едва можно было прочитать: «От Москвы 18, от станции Рудаки 3 версты».

— Что ж, в поле отдохнем? — спросил Иван. — Вон и стожок близко.

— Известно, в поле, а то где ж? в деревне, что ли, харчиться?

Товарищи свернули с дороги и сели под тенью старого, накренившегося стога.

— Есть же люди, — заметил Иван, снимая лапти, — у которых еще старое сено осталось. У нас и солому-то с крыш по весне коровы приели.

Начали полдничать: добыли воды да хлеб из мешков вынули — вот и еда готова. Потом вытащили из стога по охапке сена и улеглись

— Смотри, Федя, — молвил Иван, укладываясь и позевывая, — во все стороны сколько простору! Всем место есть, а нам…